

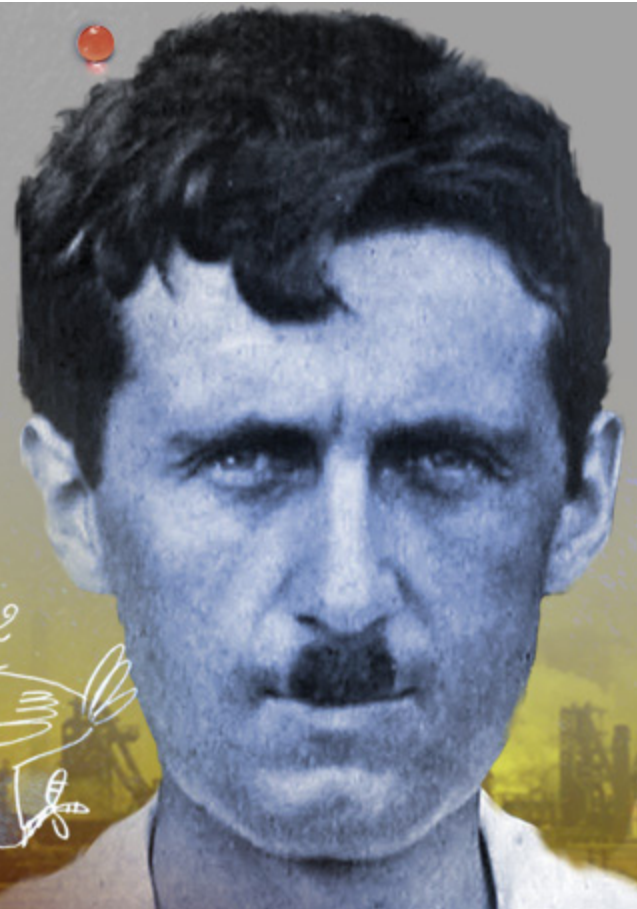


ГЛОТНУТЬ  
ВОЗДУХА

ДЖОРДЖ

ОРУЭЛЛ

GEORGE  
ORWELL



ГЛОТНУТЬ  
ВОЗДУХА

ДЖОРДЖ

ОРУЭЛЛ

GEORGE  
ORWELL

## Аннотация

Джорджу Боулингу всего сорок пять, но он все чаще и чаще начинает задумываться о никчемности своей жизни. Он недоволен всем: своим внешним видом, работой, семьей. Настоящее для него невыносимо. А вот прошлое, напротив, вызывает только приятные воспоминания. Небольшой городок с парой магазинов и рыночной площадью, где прошло детство Джорджа, родительский дом и большое озеро с огромными рыбами, и ни с чем не сравнимый воздух, такой сладкий и пьянящий, каким он может быть только в беззаботной юности. А что, если еще не поздно вернуть все это? Ну что ж, решено. И после недолгих колебаний Джордж отправляется в город своей мечты, где он когда-то был так бесконечно счастлив...

# Оглавление

Аннотация

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

2

3

4

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

2

3

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

2

3

4

5

6

Примечание

**Джордж Оруэлл**  
**ГЛОТНУТЬ ВОЗДУХА**

**РОМАН**

*George Orwell*

*«Coming up for Air», 1939*

*(перевод с английского Веры Домитеевой)*

*Мертвец уже, а всё ему нейметя.*  
**Народная песня**

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## 1

Мысль эта у меня замаячила в тот день, когда я получил свой новенький зубной протез.

Отлично помнится денек. Четверть восьмого я привычно выскочил из постели и успел вовремя закрыться в ванной от детей. Скотское январское утро хмурилось грязно-бурым небом. Через оконце ванной можно было сверху обозревать маленький, пять на десять ярдов, обсаженный кустами бирючины травяной прямоугольник с плешью посередине — «садик», как это у нас называется. Такие же садочки, те же кусты бирючины, та же трава позади всех домов на Элмир-роуд. Одно различие — где детей нет, там плешь не вытоптана.

Пока набиралась ванна, я исхитрился брить щетину старым, затупившимся лезвием. Из зеркала глядело мое лицо, а ниже, на полочке, в стакане с водой лежали зубы для этого лица. Временная модель, которую дантист Уорнер дал мне носить до окончания работ над новой челюстью. Ну, лицом я не так уж плох: румяная, с кирпичным колером физиономия из тех, что в ансамбле с парой голубоватых глаз и блондинистой шевелюрой. Слава-те господи, ни седины еще, ни лысины, так что, когда зубы во рту, выгляжу вроде бы и помоложе своих сорока пяти.

Пометив в уме купить лезвий, я залез в ванну, начал мылиться. Намылил руки (они у меня такие, знаете, в веснушках до локтя), потом спинную щетку с ручкой взял тереть лопатки, их иначе-то никак. Вот горе горькое: прибавилось на теле мест, куда не дотянуться. Честно сказать, в полноту меня повело. Нет, я не то чтоб диво балаганное. Вес у меня всего фунтов под двести, а вокруг талии последний раз измерил — сорок восемь дюймов, ну, может, сорок девять, уж не помню. И не противный я, не «дико разжиревший», живот до колен не свисает. Просто я так это, широковат слегка, объемистый. Знаете плотных резвых толстяков, симпатяг, которых награждают прозвищем Толстун или Бочонок, которые всегда и везде душа общества? Так вот вам я. Меня обычно называют Толстуном: Толстун Боулинг. А по-настоящему

я Джордж, Джордж Боулинг.

Хотя тогда вот, в ванной, настроения не имелось общество веселить. Вообще подумалось, что вечно я теперь с утра не в духе, хотя сплю хорошо, желудок в норме. Ясно, конечно, почему — проклятые вставные зубы. Лежали на дне стакана и, увеличенные сквозь воду, скалились, как в черепе. Паршиво чувствуешь себя, сомкнув голые десны, — весь ты какой-то смятый, скукоженный, будто кислого яблока куснул. И потом, что ни говори, искусственная челюсть — рубеж. Как удалят тебе последний зуб, так больше себя не надуешь, не почуешь красавцем, шейхом голливудским. Оброс салом и сорок пять годков. Собравшись ноги намылить, осмотрел я свои телеса. Это все ерунда, что толстякам ступней собственных не увидеть, однако же я, если прямо встану, то вижу только пальцы ног. Мылю я свой живот и думаю: да никто из бабенок на тебя бесплатно лишний раз не глянет. И не особо, доложу вам, в тот момент я жаждал женских взглядов.

Но что кольнуло — этим утром, казалось бы, мне точно радоваться. Во-первых, на службу не идти. Старый автомобиль, в котором я «окучиваю» свой участок (тружусь по части страхового бизнеса, агент «Крылатой саламандры»: жизнь, пожар, кража, кораблекрушение, двойняшки — страхуем все), этот автомобиль мой временно на ремонте, и хоть я собирался зайти в лондонский офис скинуть очередные бумаженции, но на сегодня отпросился, чтобы покончить с новыми зубами у дантиста. Ну и еще штука, насчет которой я уже просто голову сломал. Вы понимаете, вдруг привалило мне семнадцать фунтов, о которых никто не в курсе, то есть дома у меня никто. Откуда, сейчас расскажу. Парень один из нашей фирмы, Мэллорс, раздобыл книжку «Астрология и скачки» с объяснением, как разгадать влияние планет по цветам на жокейской форме. А где-то там как раз должна была бежать Пиратская Невеста, лошадка неважнецкая, зато жокей в зеленом, в том именно цвете, который по звездам тогда самый счастливый. Мэллорс, прямо свихнувшись со своей астрологией, несколько фунтов на эту лошадь ставит и меня чуть не в слезах умоляет, чтобы я тоже. Так он приставал, что я в конце концов, против обычных моих правил, рискнул, поставил десять шиллингов. И ведь дотрюхала Пиратская Невеста первой к финишу. Забыл точный расклад по ставкам, но мне лично досталось семнадцать фунтов. Я



как-то инстинктивно — сам от себя не ожидал: наверно, тоже житейский рубеж — денежки тут же в банк и ни гугу. Раньше такого со мной не бывало. Хороший муж и отец купил бы платье Хильде (Хильда — моя супруга), новые ботинки детям. Но я пятнадцать лет прожил хорошим мужем и отцом, уже по горло.

Намылившись от головы до пят и немного ожив, я сел в ванну поразмышлять насчет заначки — на что тратить. То ли, думаю, в уик-энд гульнуть с подружкой, то ли тихонечко транжирить на радости вроде сигар, двойных стаканчиков. Прикидывая насчет женщин и сигар, только я пустил воду погорячей, как по ступенькам перед ванной топот бизоньих стад. Детишки прибыли! Двое ребят в доме размером с наш — это как пинта пива в полпинтовой кружке. По двери барабанный грохот с воплем:

— Папуля, пусти, мне надо!

— Обождешь! Нельзя сюда.

— Ну пап, ну срочно!

— Срочно брысь от двери. Дай принять ванну.

— Папу-у-ля! Мне на-а-до! Мне надо кой-куда!

Что тут поделаешь! Сигнал тревожный. Как полагается в таких домах, клозет у нас, конечно, вместе с ванной. Я вытащил сливную пробку, наскоро обтерся, и, едва открыл дверь, малыш Билли — мой младший, семи лет — пулей пронесся внутрь, на ходу ловко увернувшись от подзатыльника. Я уже полностью оделся, искал галстук, когда обнаружил, что мыло-то с шеи не смыл.

Жуткое дело — засохшее мыло на шее. Ходишь, будто клеем обмазанный, причем, если не смыть, до вечера будет казаться, что весь ты в этой пакости. Настроение испортилось, вниз я пошел, готовый никому не спускать.

Столовая у нас, как у всех остальных на Элзмир-роуд, комнатенка футов двенадцать на четырнадцать, а то и меньше, в основном загроможденная японским дубовым буфетом с парой пустых графинов и серебряной подставкой для яиц, подарком тещи нам на свадьбу. Женушка угрюмо возилась около заварочного чайника, как всегда полная тревог и страхов, потому что в «Новостях» объявили насчет повышения цен на масло или еще чего-то. Духовку она не зажгла, так что, хоть окна были наглухо закрыты, стоял зверский холод.

Нагнувшись, громко засопев (мне теперь без сопения не нагнуться), я с довольно явным намеком чиркнул спичкой и зажег газ. Хильда искоса метнула взгляд, которым она выражает недоумение от моей нелепости.

Хильде тридцать девять, в начале нашего знакомства выглядела она — точь-в-точь заяц. Такая и сейчас, только совсем худющая, подсохла, в глазах вечный испуг, вечное беспокойство, а если вконец расстроена, плечи горбом и руки скрестит на груди, как старая цыганка у костра. Она из тех, кого жизнь пришибает предчувствием грозящих бед. Мелких бед, разумеется. До войн, землетрясений, эпидемий, голода и революций ей никакого дела нет. Причитания у нее — масло дорожает, газовый счет огромный, обувь детская сносилась, опять подходит срок за радио в рассрочку. Со временем я понял: ей это прямо сласть — скрестивши руки на груди, раскачиваться и нудить: «Джордж, это же очень серьезно! Ума не приложу, что делать! Где взять денег? Ты, видимо, не понимаешь, как все это серьезно!» В голове ее крепко засело, что кончим мы в работном доме. Между прочим, если мы впрямь докатимся, ей будет там раз в сто легче, чем мне, — наверно, даже радость испытает от полной безопасности.

Дети уже были внизу, успев молниеносно вымыться и одеться, что им удастся всегда, когда нет случая томить кого-нибудь за дверью ванной. Пока я садился к столу, они тягуче препирались: «Да-да, ты!» — «Нет, не я!» — «Ты!» — «Нет, не я!» И могли все утро тянуть эту волюнку, если б я не велел немедленно захлопнуть рты. У нас лишь двое: семилетний Билли и Лорна, ей одиннадцать. Чувство мое к ним специфическое. Частенько я даже их вид едва терплю. А разговоры их вообще невыносимы. Они в той скучной поре младших школьников, когда все мысли крутятся вокруг линеек, пеналов и у кого лучше отметки по французскому. Но иногда, особенно когда они уснут, во мне совсем другое. Бывало, стоял я около их кроваток летними лунными ночами, смотрел на них, спящих, на их круглые рожицы, кудельки еще светлей моих и ощущал что-то такое, про что в Библии говорится «взволновалась... внутренность... от жалости к сыну своему»<sup>[1]</sup>. В подобные минуты я себя чувствую как сухой стручок с семенами, который сам пенса не стоит, нужен лишь затем, чтобы вот этих малявок на свет пустить, прокормить, вырастить. Ну, это изредка. Обычно-то свое отдельное существование видится мне довольно

стоящим, я чувствую, что есть еще силенки и еще много светит впереди, и роль покорной загнанной скотины, дойной коровы для супружницы и ребятишек меня не манит.

Завтрак прошел в почти полном молчании. Хильду грызло ее всегдашнее «ума не приложу, что делать!», отчасти из-за новых цен на масло, отчасти потому, что кончались рождественские каникулы, а мы еще не уплатили пять фунтов за прошлый школьный семестр. Съев яйцо всмятку, я намазал хлеб «Царским золотым мармеладом». Хильда жметя с провизией, покупает дешевку вроде этой: пяток пенсов за фунт, на этикетке самым мелким шрифтом, что продукт утвержденный, «с добавлением нейтральных фруктовых соков». Тут меня стало разбирать, я довольно ехидно, как иногда умею, начал насчет того, где ж их выращивают, эти самые «нейтральные фрукты», в каких таких удивительных странах, что за плоды чудесные и прочее, пока Хильда не разозлилась. Не остроумие мое сочла тупым, просто ей всегда кажутся грехом насмешки над экономией.

Я просмотрел газету — ничего новенького. От Испании до Китая люди крошат друг друга, на вокзале нашли отрезанные женские ноги, свадьба короля Зога[2] может не состояться. Наконец, часов в десять, раньше, чем собирался, я вышел из дому. Дети убежали играть в городской сад. На крыльце мерзко дохнуло сыростью, порыв ветра хлестнул по голой шее в засохшем мыле, мигом дав ощутить, что одет я не по погоде и весь покрыт гнуснейшей липкой коркой.

## 2

Бывали вы на моей Элзмир-роуд в Западном Блэчли? Да хоть и не бывали, наверняка видели десятки точно таких же.

Все эти наводящие тоску улицы ближних и дальних столичных пригородов. Везде как под копирку. Длиннющие ряды однообразных сдвоенных домишек[3] (по Элзмир-роуд их числится 212, наш — номер 191), уныло, словно по шаблону казенных строений, и вообще безобразно. Оштукатуренный фасад, пропитанная антисептиком калитка, изгородь из бирючины, зеленая входная дверь. Названия жилищ на табличках либо «Кущи боярышника», «Лавровые рощи», «Цветущий мирт», либо «Бель вю», «Мон абри», «Мон репо»[4]. Не

чаще одного раза на полсотни домов встретится такой наглый вызов обществу, который демонстрирует субъект (кончит наверняка в работном доме), покрасивший входную дверь не зеленой, а синей краской.

Ощущение липкой гадости на шее меня буквально деморализовало. Интересно, как эта штука может опустить. Весь гонор вышибает, будто оказался вдруг на людях с оторванной подметкой. В то утро виделся я себе без прикрас. Словно со стороны глядел на самого себя, идущего по улице, — толстого, красномордого, с фальшивыми зубами, скверно и вульгарно одетого. Джентльменом такому малому не притвориться. За двести ярдов видно, чем я занимаюсь, — то есть не в точности страховками, но явно чем-нибудь торгую, что-то рекламирую. На мне же просто униформа нашего племени: слегка потертый серый костюм «в елочку», синее пальто за пятьдесят шиллингов, котелок, перчаток нет. И стиль у меня, как у всех, имеющих процент с продажи, развязный, пошлый. В лучшие минуты, когда я выходной костюм надену и сигару закурю, меня можно причислить к букмекерам или владельцам баров, а в худшие — к тем, кто таскается по домам и навязывает пылесосы, но обычно оцените вы меня правильно. Едва взглянув, скажете: «Выколачивает парень свои пять—десять фунтов в неделю». Материально и социально я, так сказать, типичный представитель Элмир-роуд.

Шел я по улице фактически один. Мужчины успели уехать поездом 8.21, женщины тормозились возле плит. А когда есть время пройтись по этим ближне-дальним пригородам и настроение есть поразмышлять, так просто смех берет насчет всей здешней жизни. Ну правда, что это, в конце концов, такое — улица вроде Элмир-роуд? Тюрьма, тюремный коридор с рядами камер. Шеренга сдвоенных полуотдельных казематов, в каждом из которых дрожит, трясется бедолага «от-пяти-до-десяти-фунтов-в-неделю», чьи жилы тянет палач-босс, на чьей шее сидит супруга-ведьма, чью кровь высасывают деточки-пиявки. Все это хрень насчет страданий пролетариев. Я лично не особо их жалею. Скажите, попадался вам когда-нибудь черноработчий, что ночами не спит — боится увольнения? Страдает работяга физически, зато оттрубил смену — и свободен. Но в каждом из здешних отсеков горемыка, который не бывает свободным никогда и

лишь в коротких снах мечтает о том, как скинет босса в шахту и завалит тонной угля.

Конечно, рассуждаю я сам с собой, кошмарный вывих нашего сословия, что мы воображаем себя владельцами чего-то очень ценного. Ведь девять из десяти на Элзмир-роуд в уверенности, что дома, где они проживают, их собственность. Хотя и наша улица, и весь квартал до Хай-стрит целиком в бандитских лапах домовладельческого общества «Сад Гесперид», принадлежащего строительной компании «Щедрый кредит». Вот эти «щедрый кредиты», надо думать, умнейший современный рэкет. И мое страхование, я признаю, чистое надувательство, но надувательство простое, откровенное. А шик таких строительных компаний — околпачить, убедив жертву в оказанном ей величайшем благодеянии. Вы ее палкой по хребту, а она ручку вашу лижет. Я бы увековечил «Гесперид» и всю эту систему монументом особого божества. Дивный вышел бы идол, среди прочего — гермафродит. Верх до пояса — генеральный директор фирмы, низ — родная милая женушка. В одной руке у идолица был бы ключ (от работного дома, разумеется), в другой этот... ну как его? кривой кулек со всякими подарками?.. Ага, рог изобилия, откуда фонтаном страховки, радиоприемники, вставные челюсти, пилюли, презервативы и садовые катки.

Дело ведь в том, что и внеся последний взнос за наше жилье на Элзмир-роуд, мы не становимся его хозяевами. Это ж не истинная собственность, фактически — аренда. Причем в домах такого класса, если за наличность, наша площадь идет примерно по триста восемьдесят, ну а с рассрочкой на шестнадцать лет цену поставили пятьсот пятьдесят. Сто семьдесят сразу в чистую прибыль «Щедрого кредита», который, уж будьте уверены, имеет с нас гораздо больше. В цену по триста восемьдесят входит и доход строителей, но наш «Щедрый кредит» под вывеской «Уилсон и Блум» сам строит и себе гребет. Тогда один расход — материалы, но тут опять-таки барыш, поскольку с вывеской «Брукс и Скаттерби» фирма сама себе продает кирпич, плитку, двери, рамы, песок, цемент, да и стекло, наверное. Меня б не слишком удивило, что под очередным названием ребята сами себе поставляют даже пиленный лес для оконных и дверных коробок. А в придачу (и это нас прямо сразило, хотя уж тут-то можно

было предугадать) «Щедрый кредит» не обнаружил склонности блюсти чистоту сделки. Жилье по Элзмир-роуд возвели, оставив кой-какие участки пустыми, — не бог весть какая красота, зато детишкам хорошо, есть где побегать, на этих самых «плановых лугах». В бумагах не значилось, но всегда подразумевалось, что луга так лугами и останутся. Однако же пригород Западный Блэчли развивался: в 1928-м тут запустили фабрику «Повидла Ротвелла», в 1933-м — англо-американский завод цельностальных велосипедов, — а население прибывало, арендная плата повышалась. Никогда не имел счастья лицезреть во плоти ни сэра Герберта Крама, ни кого другого из шишек «Щедрого кредита», но так и вижу слюнки на их губах. Короче, вдруг явились землекопы и началась застройка луговых участков. В «Садах Гесперид» горестно взвыли, немедленно была учреждена ассоциация защиты дольщиков жилья — куда там! Адвокаты Крама в пять минут нас расколошматили, на «плановых лугах» выросли здания. Действительно красиво нас обвели, и не откажешь — по заслугам старому Краму титул баронета, умен собака. Одним мифом, одной только иллюзией, что мы живем в своих домах, имеем, так сказать, «свой пай в стране», обращены мы, олухи несчастные из «Садов Гесперид» и прочих подобных ловушек, в вечных и верных рабов Крама. Ну как же, господа «почтенные домовладельцы» — то бишь все поголовно услужливые подлипалы-консерваторы. О нет, нельзя резать гусыню, несущую золотые яйца! А факт, что никакие мы на деле не домовладельцы, что мы вообще еще на середине выплат и замучены постоянным страхом каких-то бед, каких-нибудь помех очередным взносам, так этот факт лишь увеличивает наш рабский энтузиазм. Куплены с потрохами, и, главное, куплены за свои же кровные денежки. Каждый болван, рвущий кишки, дабы вдвойне оплатить эту кирпичную халупу и называющий ее «Прелестный вид», поскольку тут как раз ни вида, ни тем более прелести, каждый жизни не пощадит в бою, спасая родину от большевизма.

Свернув с Уолпол-роуд, я пошел по Главной улице. Поезд на Лондон был теперь в 10.14. Возле «Тысячи мелочей» припомнилось, что утром я наметил купить бритвенных лезвий. У прилавка с мылом заведующий отделом, или как там его по чину, распекал продавщицу. В такой час покупателей всякой дешевой ерунды не много. Если войти

сразу после открытия, так иной раз увидишь всех девиц, выстроенных в ряд и получающих утренний нагоняй лишь для порядка, для рабочей формы на день. Говорят, торговые сети держат таких специальных парней с полномочиями издеваться и оскорблять, которых посылают по магазинам взбадривать девичьи коллективы. Заведующий был злобным недомерком, плечи квадратные и пики седых усов. Он только что атаковал растяпу за провинность — видимо, за какую-то ошибку в сдаче, — и зудел, будто циркулярная пила:

— Нет-нет! Правильно сосчитать вам в тягость! Нет уж, не станете вы — правильно. Это ж какой труд, надорваться можно! Да ни за что!

Не удержавшись, я взглянул на продавщицу. Малоприятны ей были сейчас, когда ее песочили, взгляды немолодого толстяка с багровой мордой. Я тут же быстро отвернулся, притворившись, что страшно заинтересован товарами на соседнем прилавке: кольцами для занавесок или чем-то еще. А недомерок снова принялся зудеть. Из тех, что вроде стрекозы: отлетят и внезапным виражом опять по вашу душу.

— Правильно считать не для вас! Какое ж вам-то дело, если магазину убыток на два шиллинга? Ну что такое два боба для вас? Пустяк вовсе. Нельзя даже просить вас озаботиться и считать как положено. Нет-нет! Чтоб вам-то без хлопот, а остальное уж не велика важность. Думать-то о других вы не привыкли, и зачем вам?

Продолжалось это минут пять, слышно было на полмагазина. Он отворачивался, отходя, даря ей благодарную надежду, что отвязался наконец, и тут же опять налетал задать новую порцию. Стоя поодаль, я украдкой поглядывал на них. Виновная — девчонка лет восемнадцати, кубышка с круглым плосковатым лицом, которому не светит как-либо измениться к лучшему. Ее трясло, просто трясло от муки. Она вихлялась, как под ударами кнута. Другие продавщицы изображали слепоту и глухоту. Мучитель, плотный маленький поганец из боевитых воробьев (грудь колесом и руки за спиной, под пиджачными фалдами), — типичный старший сержант с характерным только для этого ранга росточком ниже нормы. А замечали вы, как часто палачами служить берут именно недомерков? Он был весь в поту, даже усы взмокли, и едва не въехал в нее от рвения пронять разносом. И девчонка — по телу дрожь, щеки пылают.

Наконец он решил, что хватит, отступил важно, будто адмирал на командирской палубе. Я подошел к прилавку с лезвиями. Усач знал, что каждое слово мне донеслось, девица тоже, оба они понимали и то, что знаю я, что они знают. Но хуже всего для меня — девчонка напустила вид, что ничего, мол, не случилось, и спесиво поджала губы, выражая умение барышни из магазина «держат дистанцию» с мужской частью клиентов. Гордячка леди через полминуты после того, как на моих глазах тряслась и пресмыкалась! Лицо ее еще горело, руки дрожали. Я спросил лезвий, она стала рыться в трехпенсовом подносе. В этот момент лютый начальничек повернул к нам, и на секунду мы с продавщицей замерли, ждали — опять начнет. Девушка вздрогнула, как собачонка, завидевшая хлыст. Но уголком глаза она косилась на меня, явственно вспыхнув злобой ко мне, свидетелю ее мучений. Вот дела!

Забрав пакетик лезвий, я убрался. Шел и раздумывал: почему люди это терпят? Трусят, конечно. Дерзко возразишь и тут же вылетишь. Повсюду так. Вот малый, например, в соседней бакалее, куда мы ходим. Двадцатилетний богатырь, румянец во всю щеку, бицепсы — ему бы при кузнечном деле, а он в своей беленькой курточке, низко вам кланяясь из-за прилавка, умильно ладони потирая: «Да, сэр! Точно так, сэр! Приятная погодка для этих дней. Чем могу услужить вам, сэр?» Буквально просит, чтоб вы его пнули. Ясно — заказы, покупатели и «клиент всегда прав». И на лице его печать смертного ужаса: ведь вы пожаловаться можете на недостаточно любезного, и тогда его в шею. Вообще, откуда ему знать: вдруг вы не покупатель даже, а тайный ревизор компании? Ох, страшно! Рыбешки мы в море страха. Наша, наша стихия. Кто не пришиблен страхом увольнения, тот боится войны, фашизма, коммунизма или еще чего-нибудь такого. У евреев мороз по коже, как вспомнят Гитлера. Тут у меня мелькнуло, что злобный поганец в магазине тоже, может, трясется, держится за место не меньше продавщицы. Наверное, семью тянет и дома он, возможно, тихий добрячок, на заднем дворике огурчики растит, дает жене командовать, а ребятишки его за усы треплют. Вы ж никогда не прочитаете насчет испанских инквизиторов или тузов из русского ОГПУ без того, чтобы вам не рассказали, какой этот изверг был в частной жизни милый да сердечный, лучший из мужей и отцов,



канарейку свою обожал и прочее.

Девица от прилавка с мылом все смотрела мне вслед, когда я выходил. Убила бы меня, если б могла. Просто возненавидела, да как! Сильней гораздо, чем своего начальника.

### 3

Низко летел бомбардировщик. Минуту-две казалось — на одной скорости с нашим поездом. Напротив уселась пара вульгарных типчиков в поношенных пальто: деляги самого мелкого пошиба, агенты по распространению чего-нибудь. Один стал читать «Мейл», второй — «Экспресс». Меня они явно приметили и оценили как своего. В другом конце вагона двое с черными мешками, клерки адвокатских контор, громко вели беседу, сыпля юридической галиматьей, чтобы всех поразить и показать — они-де не из общего стада.

Я смотрел на плывущие мимо задворки зданий. Ветка от Западного Блэчли большей частью идет через трущобы, но такой покой на душе, когда мелькают задние дворики с цветами в ящиках, птичьи клетки на стенах и плоские крыши, где женщины белье развешивают после стирки. Огромный черный бомбардировщик повисел в воздухе и резко взмыл, исчезнув из моего поля зрения. Я сидел спиной к паровозу. Делаш напротив глянул на взмывший самолет. И ясно, о чем ему подумалось. О том же, о чем всем сегодня. Большого ума не надо, чтобы такие мысли побежали. Как через год, через два мы тут поведем себя при виде таких штучек? С испугу обмочив штаны, кинемся по подвальному норам?

Делаш отложил свою «Дейли мейл».

— Тэмплгейтский призер опять первым, — сообщил он.

Клерки-законники наперебой выхвалялись мудреной чушью насчет «безусловных прав наследования» и «номинальной аренды». Второй делаш, порывшись в кармане жилета, вытащил мятую дешевую сигарету. Потом, похлопав по другим карманам, наклонился ко мне:

— Бочонок, спичка есть?

Я достал спички. Ишь, Бочонок я ему. Нет, даже интересно. С мыслей про бомбежки я переключился на размышления о своей

фигуре, как раз подробно мной обследованной утром в ванной.

Что говорить, я полноват. Сложение у меня и вправду бочка бочкой. Но вот ведь любопытно: потому только, что вам случилось слегка растолстеть, чуть ли не всякий, даже совершенно незнакомый, вправе кинуть насмешливое прозвище, глумясь над вашей особой комплекцией. Представьте парня с горбом, или косоглазого, или же с заячьей губой — вы станете кличкой напоминать ему об этом? Ну а если толстяк, то само собой. Я из таких, кого уж непременно по спине хлопнут, пихнут в бок, причем в уверенности, что мне это очень нравится. Мне никогда не войти в бар «Корона» (это в Падли, я там бываю по делам разок в неделю), без того чтоб осел Уотерс, который коммивояжером от мыловаров «Пенистой волны», но в основном пивко тянет в «Короне», не ткнул меня пальцем под ребра, припевая: «Ой, раскормил он мощи, Том Боулинг усопший», — а идиоты вокруг не заржали от этой постоянной шуточки. Палец-то, между прочим, у чертова Уотерса как штырь железный. Они думают: толстый, так ничего не чувствует.

Делаш взял еще спичку, в зубах поковырять, и вернул коробок. Поезд, засвистев, въехал на железный мост. Внизу по шоссе катил мучной фургон, тянулась длинная колонна грузовиков с цементом. А странно, думал я, ведь в чем-то они насчет толстяков и правы. Толстый, особенно когда он пузан с детства, так сказать врожденный, он не совсем такой же человек, как прочие. Идет по жизни в неприменной комической манере, вечно он вроде юмориста на концерте, а если кто за триста фунтов вес набрал, то прямо-таки уже клоун. Я побывал и тощим, и дородным — знаю, как полнота твой взгляд на мир меняет. Округлишься, и будто защищен, и перестанешь брать все чересчур всерьез. Сомневаюсь, что тот, кто с малых лет по прозвищу Толстунчик, способен очень уж переживать. Как ему? У него и опыта такого не набралось. Ему ведь даже не изобразить трагедию; известно — раз толстяк на сцене, будут шуточки. Представить только — толстобрюхий Гамлет! Или Оливер Харди в роли Ромео. Совсем недавно, между прочим, мне подумалось об этом самом, когда я читал книжку, которую у Бутса взял, роман «Безумно и безответно». Там один парень узнает вдруг, что подружка его ушла к другому. Парень, естественно, как полагается в романах, с волной темных волос,

бледным нервным лицом и солидным доходом. Помню примерно вот такое место: «Ладонями обхватив голову, Дэвид метался по гостинной. Известие его сразило. Долгое время он просто не мог поверить — Шейла изменила! О нет! Нет! Но внезапно сознание прояснилось, истина открылась во всем ее безмерном ужасе. Вынести это было невозможно. Он рухнул как подкошенный и зарыдал».

Да-да, примерно так. Читал я тогда и слегка задумался. Случай понятный, но, стало быть, тому парню, да и другим, вполне нормально тут так убиваться. Ну а вот я? Ну, предположим, гульнула с кем-то Хильда в уик-энд. И черт с ним, пусть. Нет, вообще было бы приятно получить повод хорошенько ей поддать, но чтоб я рухнул и рыдал? Я-то, с моими телесами? Да это был бы просто срам.

Поезд пыхтел по набережной, за окнами тянулись непрерывной лентой крыши, красные крыши частных домиков, куда, блеснув в лучах железными боками, полетят бомбы... До чего же эти бомбы засели у всех нас в мозгах. А полетят наверняка и скоро, вопроса нет. По бодрым утешениям газет понятно, что уже вот-вот. На днях в «Хронике новостей» писали, что теперь самолетная бомбежка больше не страшна. Мол, есть такие противовоздушные орудия, что не дадут бомбардировщикам снизиться ниже двадцати тысяч футов. Газетчик, видно, думает, что если самолет на очень большой высоте, так бомбам до земли не долететь. Или, скорее, речь про то, что Арсенал в Вулидже[5] не заденет, а разбабахают только предместья наподобие Элзмир-роуд.

Но, вообще говоря, не так уж плохо быть толстяком. Во-первых, популярность обеспечена. В любой компании, хоть с маклерами, хоть с епископами, толстяк как дома. И касательно женщин у него удач больше, чем некоторым кажется. Зря представляют, что толстяк женщине — всегда только смешить ее. На деле женщинам любой мужик не в шутку, если умелец зубы заговаривать насчет своей страстной любви.

Однако же я не всегда бочонком был. В последние лет восемь-девять раздобрел и приспособил себя к соответственной манере. А по натуре, по душе, как говорится, я не вполне толстяк. Нет, не подумайте, что нежный цветик, за улыбкой прячу израненное сердце и все тому подобное. С таким набором в страховом бизнесе делать

нечего. Я наглый, вульгарный, бесчувственный и в своем окружении на месте. Пока в мире будут такие штучки, как выжимание денег за процент и заработок путем одного только бесстыдства, будут и подходящие ребята вроде меня. Я, что бы ни было, всегда смогу подзаработать (подзаработать, но солидно-то нажиться — никогда); пусть даже война, революция, чума и голод, я выкручусь, продержусь дольше остальных. Да, из таковских я. И все же кое-что еще во мне имеется, осталось что-то от меня прежнего. Что? Я скажу: хоть жирку нарастил, а под ним я все тот же — тощий. Вам вот не приходило в голову, что — как про камни говорят — внутри у каждой глыбы статуя, так и во всяком толстяке внутри худышка?

Делаш, который у меня спички просил, всласть ковырялся меж зубов, насупясь над газетой.

— Солдатские обмотки вроде бы туго идут, — произнес он.

— Да вовсе не впихнуть, — откликнулся второй. — А как понять-то «пара ног»? Не все, что ль, пятки равно мозолями кровят?

— Видно, прикажут ихние ноги на марше газетами обертывать, — съязвил первый.

За окном все тянулись ряды крыш, вились лентами вдоль дорог и улиц, будто сам скачешь по холму, а внизу неоглядная долина. Лондон и вдоль и поперек — это же двадцать миль домов почти что сплошь. Господи! Начнутся налеты, и как же нас не разбомбить? Мы целиком одна громадная мишень. И без предупреждения, наверно. Кто в наше время этакий кретин, чтоб объявлять войну? Будь я Гитлером, так послал бы самолеты посреди мирной конференции. Каким-нибудь тихим, спокойным утром, когда клерки толпой поспешают через Лондонский мост, тетки тряпье развешивают на веревках, канарейки радостно заливаются, с неба вдруг гул — и бам! бу-бух! Дома на воздух, по тряпью брызгами кровь, и щебет канареечный над трупами.

Не жалко, а? Я смотрел на безбрежное море крыш. Миля за милей улицы, лавки жареной рыбы, церковные кровли, киношки, затиснутые в переулках книжные магазинчики, фабрики, муравейники квартир, ларьки с моллюсками, молочные, электростанции — без конца и без края. Целый мир! И какой покой всюду! Просто заветные леса без хищников. Из пушек не палят, гранаты не бросают, никто никого даже резиновой дубинкой не молотит. Подумать только, во всей Англии

сейчас ни одного окна, откуда целится винтовка.

Но через пять годков? Через два года? Через год?

## 4

Закинув бумаги в контору, я двинул дальше. Уорнер из дешевых дантистов по-американски, приемная его (он любит говорить — «мой кабинет») в скопище офисов, между фотографом и оптовым торговцем резиной. Прибыл я раньше назначенного часа, как раз образовалось время заправиться, и почему-то стукнуло мне потащиться в молочный бар. Вообще-то я по таким барам не ходок. Нас, братию «от-пяти-до-десяти-в-неделю», не очень в этих новомодных кафе привечают. Если приспичило вдруг спустить шиллинг на жратву, тебя в каком-нибудь «Лайонз», «Экспресс дэри», «Эй-би-си»<sup>[6]</sup> или любом подобном, до смерти тоскливом заведении обслужат у буфетной стойки, кинут небрежно пинту горького и ломоть пирога, который еще холоднее пива. Снаружи молочного бара орали мальчишки с пачками свежих вечерних выпусков.

За сверкающей багровыми лампочками стойкой девица в белом колпаке возилась у холодильника. Позади нее играло радио, шпарило неотвязно: пум-блям-блям-пум. Сразу подумалось: «Какого хрена я сюда приперся?» Атмосфера этих закусовых на меня давит. Все гладко, голо, обтекаемо; куда ни глянь — эмаль, стекла зеркал, хромированный никель. Затраты все на антураж, ноль на провизию. Настоящей еды вообще нисколько. Только преysкурант ерунды с американскими названиями, дряни без запаха и вкуса, в которую едва поверишь, что съедобно. Продукты из коробок и жестянок, или из замороженных брикетов, или из тубиков. Ни уюта, ни удобства. Сидишь тут на высоком табурете, как на жердочке, нормально не поешь, со всех сторон зеркальный глянец. Короче, с одной целью тебе глаза слепит, уши мозолит брэнчанием радио — еда не важно и комфорт не важно, ничего важного на свете нет, кроме того, чтоб обтекаемо блестело и быстрее, попроще, поточным методом. Везде теперь эта вот гладкая штамповка, даже в пулях, что Гитлер для тебя припас. Я заказал большую чашку кофе и порцию сосисок. Девица в белом колпаке шваркнула мне еду с такой любезностью, с какой

червяков сушеных сыплют рыбкам.

Мальчишка-газетчик вопил у входа: «Сенсацннновосси!» Трепетал лист с крупным газетным заголовком: «ДЕЛО О НОГАХ. НОВЫЕ СТРАШНЫЕ ОТКРЫТИЯ». Ну ясно, опять «о ногах». Хорош сюжетец. Два дня назад нашли в пакете на вокзале ноги какой-то женщины, и тут же хлынул поток статей — народу ж, понятное дело, нет ничего нужнее, интересней, чем про отрезанные ноги. Главная новость наших дней. Странно однако, думал я, жуя пресную булочку, до чего скучные теперь пошли убийства. Все эти трупы, расчлененные, частями раскиданные по разным местам. Ни следа старинных добротных драм с кинжалами и флакончиками яда, с жуткими страстями Криппена, Седдонов или миссис Мэйбрик[7]. Явный упадок. Похоже, убийства шикарного не совершить, если не верить, что за свое злодеяние будешь вечно в аду жариться.

В этот момент я надкусил свою сосиску... Черт!

Честно сказать, на особо приятный вкус я не рассчитывал. Ожидал — просто жвачка вроде булки, но это! Ладно, провел опыт на себе. Сейчас попробую описать ощущения.

Сосиска, разумеется, была тугая, будто резиной обтянута, и мои временные зубы тут не совсем годились. Пришлось кромкой зубов как бы пропиливать шкурку. И вдруг из-под нее — плюх! Как из лопнувшей гнилой груши. И весь рот полон какой-то мягкой гадости. А вкус! Секунду я прямо не мог поверить, потом снова потрогал языком — ну точно, рыба! Сосиску, то есть мясную колбаску, набили рыбным фаршем! Я встал и вышел, кофе даже не попробовав. Бог знает из чего его сварили.

На улице мальчишки бросились совать мне выпуск «Знамени», выкрикивая: «Ноги! Подробносси шокируют! Призеры скачек! Полный списсок! Ноги! Улики ужассают! Ноги!» Я все еще шагал с набитым ртом, соображая, куда бы выплюнуть. Помнится, было как-то в газетах насчет германских пищевых фабрик, где продукт ухитряются изготавливать из чего-то другого. У немцев это называется «эрзац». И помнится, про немцев я читал, что колбаса у них из рыбы, а в рыбе, уж конечно, ничего рыбного. В общем, такое чувство появилось, что надкусил я современный мир и обнаружил, из чего он на самом деле. Общий настрой нынче: все оптимально, обтекаемо, с гляцем и

обязательно из заменителя. Резина, целлулоид, всюду блеск хромированной стали, ночь напролет светятся дуговые лампы, крыши стеклянные, по радио дудят модный мотивчик, вместо травы сплошь асфальт да цемент, вместо наваристого супа соки «нейтральных фруктов». А как порой до сути доберешься — испробуешь на вкус что-то надежное, ну, например, сосиску, — поймешь, что получил. Тухлую рыбу в резиновой коже. Взрывы помойных бомб во рту.

Со вставленными новыми зубами мне стало чуть лучше. Протезы сидели хорошо, плотно к десне, и хоть нелепо звучит, что искусственная челюсть бодрит и молодит, но так и было. Я попробовал улыбнуться сам себе, глядясь в витрину, — а что, не так уж плохо! Уорнер берет дешево, но, можно сказать, артист в своем деле и не стремится сделать из тебя рекламу зубной пасты. У него, он однажды мне показывал, шкафы набиты фальшивыми зубами, разложено все по порядку согласно размерам и оттенкам, и он их подбирает, как ювелир камни для ожерелья. Девять из десяти примут мои зубы за натуральные.

Я увидал себя в очередной витрине во весь рост, и вид мой показался вдруг вполне даже пристойным. Грузноват, не поспоришь, но не туша — просто, как говорят портные, «полная фигура», — а морда красноватая, так некоторым женщинам как раз такие вот здоровяки и нравятся. Нет, жив еще старый пес! Вспомнив про заветные семнадцать фунтов, я точно решил — потрачу на баб. Тем временем настал час принять пинту до перерыва в пабах (надо ж новые челюсти обмыть!), и чувство богача с порядочной заначкой вдохновило зайти в лавку купить сигару за полшиллинга. К этим сигарам у меня слабость, они длинные, восемь дюймов, с гарантией «Гаванский табачный лист». Хотя, подозреваю, и в Гаване капустного листа полно.

Из паба я вышел совершенно разомлевшим. От пары пинтовых кружек внутри потеплело, втекавший меж новых зубов дымок сигары омывал душу блаженным покоем. Потянуло на философию (это отчасти потому, что мог бездельничать). Снова, как утром в поезде при виде летевшего бомбардировщика, потекли мысли о войне. Но настроение уже было другое, такое настроение, когда пророчишь насчет близкого конца света и тебе это не без удовольствия.

Шел я по Стрэнду, и хотя было холодновато, шел медленно, чтоб наслаждаться своей сигарой. Вплотную туда и сюда сновали люди с обычным у лондонских прохожих безумным выражением лица, посреди мостовой образовалась обычная пробка с автобусами, что пытались продвинуться в гуще автомобилей, и таким шумом ревущих моторов, сигналиющих гудков, что мертвец бы проснулся. Но этих не разбудишь, думал я. Казалось, я единственный живой в селении лунатиков. Так только кажется, конечно. Шагая в незнакомой толпе, очень даже легко вообразить, что вокруг Музей восковых фигур, но ведь, наверно, каждая персона про тебя то же думает. И это вот пророческое настроение, которое меня последнее время одолевает — чувство, что война на подходе и скоро всему конец, — это ж не только у меня. Всех это гложет, так или иначе. Должно быть, и сейчас здесь идут те, кому видятся взрывы и горы щебня. Любая ваша мысль одновременно варится еще в миллионе голов. И все же мне казалось: народ на пылающей палубе, а пожара никто не видит, кроме меня. Я смотрел на лица спешащих мимо болванов — точь-в-точь индюки за пару недель до рождественских ужинов. Словно рентгеновским лучом мой глаз просвечивал их, видел насквозь.

Представилась эта самая улица лет через пять или поменьше после начала боев (заварится каша, как ожидают, в 1941-м).

Нет, не дотла. Так, небольшие изменения: все стало каким-то обшарпанным и грязным, витрины почти пусты, и столько пыли на их стеклах, что уже не посмотришься. В переулке огромная воронка от бомбы, стены сгоревшего здания торчат как сгнивший зуб. Муравьиная жизнь. На удивление тихо, и народ весь заметно отоцал. Солдатский взвод марширует по мостовой, ребята худые как щепки, еле башмаки волочат. Сержант с усами штопором осанку строевую держит, но тоже тощий и зашелся кашлем чуть не до рвоты. Перебарывая кашель, сержант пытается орать на подчиненных в стиле прежних учений на плацу: «Башку подыми, Джон! Чего ты по земле глазами шаришь? Окурков уже год как не найти». Тут его снова настигает приступ кашля, ему не справиться, его сгибает пополам, кашель чуть кишки не вытряхивает, багровое лицо синее, усы виснут сосульками, из глаз слезы.

Я слышу вой сирен, предупреждающих о воздушном налете, и



зычный бас из репродуктора, оповещающий о том, что наши славные солдаты захватили сто тысяч пленных. Я вижу комнатуху в Бирмингеме, мальчика, что без умолку хнычет, клянча хлеба, и мать, которая, не выдержав, вопит: «Заткнись ты, выродок!», а потом, задрав сыну рубашонку, хлещет его по заднице, поскольку хлеба у нее ни крошки и не предвидится. Я вижу все это. Вижу плакаты и очереди за продуктами, вижу касторовое масло, резиновые дубинки и дула строчащих из верхних окон пулеметов.

Грянет такое? Кто же знает. Бывают дни, когда просто нельзя поверить, когда я сам себе говорю — это газеты панику наводят. Бывают дни, когда я нутром чую — не избежать.

На подходе к Чаринг-Кросс мальчишки выкрикивали заголовки более поздних выпусков. Естественно, опять чушь про убийство: «НОГИ: ЗАЯВЛЕНИЕ ИЗВЕСТНОГО ХИРУРГА». В глаза бросилась еще одна новость на газетной афише: «СВАДЬБА КОРОЛЯ ЗОГА ОТЛОЖЕНА». Король Зог! Ну и имечко! С трудом представишь, что этот албанский парень не черный как смоль африканец.

Тут случилась странная вещь. Каким-то манером это самое все время мелькавшее «король Зог» смешалось с уличным шумом, или запахом конского навоза, или еще с чем-то, и вдруг всплыло воспоминание.

Любопытная штука — прошлое. Оно всегда с тобой; думаю, часа не проходит без мысли о чем-то, что было десять—двадцать лет назад. Причем обычно это будто не из жизни, а из учебника истории. Но иной раз какой-нибудь вид или запах (в особенности запах) — и ты не просто вспомнишь, ты окажешься там, в прошлом. Ну так вот.

Я снова стоял в нашей приходской церкви Нижнего Бинфилда. Внешне по-прежнему шагал по Стрэнду, толстый и сорока пяти лет, в котелке и с зубным протезом, но внутри опять сделался семилетним Джорджи, младшим сынишкой Сэмюэля Боулинга («С. Боулинг: торговля кормовым зерном и семенами», Нижний Бинфилд, Главная улица, 57). Было воскресное утро, я стоял, тянул носом специфический церковный воздух. Как он хлынул мне в ноздри! Этот известный всем церковный запах сырости, пыли, сладковатого тлена. Запах, отдающий свечным салом, присутствием мышей и порой дымком ладана, а утром по воскресеньям еще глицериновым мылом и платьями из саржи. Но